

Горький Максим

Жизнь ненужного человека

I

Когда Евсею Климову было четыре года — отца его застрелил полесовщик, а когда ему минуло семь лет — умерла мать. Она умерла вдруг, в поле, во время жатвы, и это было так странно, что Евсей даже не испугался, когда увидел её мёртвой.

Дядя Пётр, кузнец, положив руку на голову мальчика, сказал:

— Чего будем делать?

Евсей покосился в угол, где на лавке лежала мать, и тихонько ответил:

— Я не знаю...

Кузнец вытер рукавом рубахи пот с лица, долго молчал, а потом тихонько оттолкнул Племянника.

— Эх ты, старичок...

С того дня мальчика стали звать Старичком. Это шло к нему: ростом он был не по годам мал, двигался вяло, говорил тонким голосом. На его костлявом лице уныло торчал птичий нос, пугливо мигали круглые, бесцветные глаза, редкие жёлтые волосы росли вихрами. Ребятишки в школе смеялись над ним и колотили его — совиное лицо

его почему-то раздражало здоровых и бойких детей. Он сторонился от них и жил одиноко, всегда где-то в тени, в уголках и ямках. Круглыми глазами, не мигая, он смотрел оттуда на людей, незаметный, опасливо съёжившийся. Когда же глаза уставали, он закрывал их и долго сидел слепой, тихонько раскачивая хилое, лёгкое тело. Он старался также незаметно держаться и в семье дяди, но здесь это было трудно, приходилось обедать и ужинать вместе со всеми, а когда он сидел за столом, младший сын дяди, Яков, толстый и румяный, всячески старался задеть или рассмешить его, делал гримасы, показывал язык, толкал под столом ногами и щипал. Рассмешить не удавалось, но часто Евсей вздрагивал от боли, его жёлтое лицо серело, глаза широко раскрывались, ложка в руке дрожала.

— Ты чего, Старичок? — спрашивал дядя Пётр.

— Это меня Яшка, — без жалобы, ровным голосом объяснял мальчик.

Если дядя Пётр давал Яшке подзатыльника или дёргал его за волосы, тётка Агафья, оттопырив губы, сердито гудела:

— У-у, ябедник...

А потом Яшка находил его где-нибудь и долго, усердно бил. Евсей относился к побоям как к неизбежному, жаловаться на Яшку было невыгодно, потому что, если дядя Пётр бил сына,

тётка Агафья с лихвой возмещала эти побои на племяннике, а она дралась больше Яшки. Поэтому, когда Евсей видел, что Яшка идёт драться, Старик бросался на землю, крепко, как мог, сжимал своё тело в ком, подгибая колени к животу, закрывал лицо и голову руками и молча отдавал бока и спину под кулаки брата. И всегда, чем терпеливее выносил он побои, тем более распалялся Яшка, порою он даже плакал и, пиная ногами тело брата, сам кричал:

— Мокрица окаянная, — реви!

Как-то раз Евсей нашёл подкову и подарил её Яшке, потому что тот всё равно отнял бы находку. Смягчённый подарком, Яшка спросил его:

— Больно я тебя давеча побил?

— Больно! — ответил Евсей.

Яшка подумал, почесал голову и сказал:

— Ну ничего, — пройдёт!

Он ушёл, а его слово что-то задело в душе Евсея, и он повторил вполголоса и с надеждой:

— Пройдёт...

Однажды он видел, как бабы-богомолки растирали усталые ноги крапивой, он тоже попробовал потереть ею избитые Яшкой бока; ему показалось, что крапива сильно уменьшает боль, и с той поры после побоев он основательно прижигал ушибленные места пушистыми листьями злого, никем не любимого растения.

Учился он плохо, потому что в школу приходил насыщенный опасениями побоев, уходил из неё полный обид. Его страх быть обиженным был ясен и вызывал у всех неодолимое желание надавать Старику тумаков.

У Евсея оказался альт, учитель взял его в церковный хор. Дома пришлось бывать меньше, но зато он чаще встречался с товарищами по школе на спевках, а все они дрались не хуже Яшки.

Старая деревянная церковь понравилась ему, в ней было множество тёмных уголков, и его всегда жутко тянуло заглянуть в их уютную, тёплую тишину. Он тайком ждал, что в одном из них найдёт что-то необычное, хорошее, оно обнимет его, ласково прижмёт к себе и расскажет нечто, как, бывало, делала его мать. Иконы были чёрные от долголетней копоти, осевшей на них, и все святые лики, добрые и строгие, одинаково напоминали бородатое, тёмное лицо дяди Петра.

А в притворе церкви была картина, изображавшая, как святой поймал чёрта и бьёт его. Святой был тёмный, высокий, жилистый, с длинными руками, а чёрт — красненький, худощавый недоросточек, похожий на козлёнка. Сначала Евсей не смотрел на чёрта, ему даже хотелось плюнуть на него, а потом стало жалко несчастного чертёнка, и, когда вокруг никого не

было, он тихонько гладил рукой искажённую страхом и болью козлиную мордочку нечистого.

Так впервые родилось у мальчика чувство жалости.

Нравилась ему церковь ещё и тем, что в ней все люди, даже известные крикуны и буяны, вели себя тихо и покорно.

Громкий говор пугал Евсея, от возбуждённых лиц и криков он бегал и прятался, потому что однажды, в базарный день, видел, как мужики сначала говорили громко, потом начали кричать и толкать друг друга, а потом кто-то схватил кол, взмахнул им, ударил. Тогда раздался страшный вой, визг, многие бросились бежать, сбили Старика с ног, и он упал лицом в лужу, а когда вскочил, то увидал, что к нему идёт, махая руками, огромный мужик и на месте лица у него — ослепительно красное, дрожащее пятно. Это было так страшно, что Евсей взвизгнул и вдруг точно провалился в чёрную яму. Нужно было опрыскивать его водой, чтобы он пришёл в себя.

Пьяных он тоже боялся, — мать говорила ему, что в пьяного человека вселяется бес. Старику казалось, что этот бес — колючий, как ёж, и мокрый, точно лягушка, рыжий, с зелёными глазами. Он залезает в живот человека, егозит там — и оттого человек бесится.

Было в церкви ещё много хорошего. Кроме мира, тишины и ласкового сумрака, Евсею нравилось пение. Когда он пел не по нотам, то крепко закрывал глаза и, сливая свой голос с общей волной голосов так, чтобы его не было слышно, приятно прятал куда-то всего себя, точно сладко засыпал. И в этом полусонном состоянии ему всегда казалось, что он уплывает из жизни, приближается к другой, ласковой и мирной.

У него родилась мечта, которую он однажды высказал дяде такими словами:

— А можно так жить, чтобы и ходить везде и всё видеть, только бы меня никто не видал?

— Невидимкой? — спросил кузнец.

И, подумав, ответил:

— Надо полагать — нельзя этого.

С той поры, как всё село стало звать Евсея Стариком, дядя Пётр называл его сиротой. Во всём человек особенный, кузнец и пьяный был не страшен, он просто снимал с головы шапку, ходил по улице, размахивая ею, высоким заунывным голосом пел песни, улыбался, качал головой, а слёзы текли из его глаз обильнее, чем у трезвого. Евсею казалось, что его дядя самый умный и добрый мужик в селе и с ним можно говорить обо всём, — часто улыбаясь, он почти никогда не смеялся, говорил же не торопясь, тихо и серьёзно. Иногда в кузнице он говорил как бы сам для себя,

не замечая племянника или забыв о нём, — это особенно нравилось Евсею. В речах своих он всегда спорил с кем-то, кого-то увещевал.

— Окаянная, — не сердясь и негромко ворчал он, — ненасытная ты собачья пасть! Али я не работаю? Вот — глаза себе высушил, ослепну скоро — чего ещё надо? Распроклятая ты жизнь-судьба тяжёлая, — ни красы, ни радости...

Было похоже, как будто крёстный складывал песни, и Евсею казалось, что кузнец видит того, с кем говорит. Однажды он спросил:

— Ты с кем говоришь?

— Говорю с кем? — повторил кузнец, не взглянув на него, потом, улыбаясь, ответил: — С глупостью со своей говорю...

Но беседовать с крёстным удавалось редко, в кузнице всегда был кто-нибудь посторонний и часто вертелся круглый, точно кубарь, Яшка, заглушая удары молотка и треск углей в горне звонким криком, — при Яшке Евсей не смел заглядывать к дяде.

Кузница стояла на краю неглубокого оврага; на дне его, в кустах ивняка, Евсей проводил всё свободное время весной, летом и осенью. В овраге было мирно, как в церкви, щебетали птицы, гудели пчёлы и шмели. Мальчик сидел там, покачиваясь, и думал о чём-то, крепко закрыв глаза, или бродил в

кустах, прислушиваясь к шуму в кузнице, и когда чувствовал, что дядя один там, вылезал к нему.

— Что, сирота? — встречал кузнец, прищуривая глаза, смоченные слезами.

Однажды Евсей спросил кузнеца:

— Нечистая сила ночью в церкви бывает?

Подумав, кузнец ответил:

— Чего ей не бывать? Она везде пролезет, ей легко...

Мальчик приподнял плечи и круглыми глазами пытливо ощупал тёмные углы кузницы.

— Ты их не бойся, бесов-то! — посоветовал дядя.

Евсей вздохнул и тихо ответил:

— Я не боюсь...

— Они тебе не вредны! — уверенно объяснил кузнец, отирая глаза чёрными пальцами. Тогда Евсей спросил:

— А как же бог?

— А что он?

— Зачем бог чертей в церковь пускает?

— Ему что? Бог церквам не сторож...

— Он там не живёт?

— Бог-то? На что ему! Ему, сирота, везде место. Церковь — это для людей...

— А люди для чего?

— А люди — они, стало быть... вообще, для всего! Без людей не обойдёшься, — н-да...

— Они — для бога?

Кузнец искоса посмотрел на племянника и не сразу ответил:

— Конечно...

Потом потёр руки о передник и, глядя в огонь горна, заговорил:

— Я этих делов не знаю, сирота... Ты бы учителя спросил. А то попа...

Евсей вытер нос рукавом рубахи, ответив:

— Я боюсь их...

— Лучше бы тебе не говорить про этакое! — серьёзно посоветовал дядя Пётр. — Мал ты. Ты гуляй себе, здоровья нагуливай... Жить надо здоровому; если не силён, работать не можешь, — совсем нельзя жить. Вот те и вся премудрость... А чего богу нужно — нам неизвестно.

Замолчав, он подумал, не отрывая глаз от огня, потом продолжал, серьёзно и отрывисто:

— С одного краю — ничего не знаю, с другого — не понимаю! «Вся премудростью сотворил еси», говорится...

Он оглянул кузницу и, заметив в углу мальчика, сказал:

— Чего жмёшься? Говорю — иди, гуляй...

А когда Евсей робко пошёл вон, кузнец прибавил вслед ему:

— Искра попадёт в глаз тебе, будешь кривой. Кому кривого надо?

При жизни мать рассказала Евсею несколько сказок. Рассказывала она их зимними ночами, когда метель, толкая избу в стены, бегала по крыше и всё ощупывала, как будто искала чего-то, залезала в трубу и плачевно выла там на разные голоса. Мать говорила сказки тихим сонным голосом, он у неё рвался, путался, часто она повторяла много раз одно и то же слово мальчику казалось, что всё, о чём она говорит, она видит во тьме, только неясно видит.

Беседы дяди Петра напоминали Евсею материны сказки; кузнец тоже, должно быть, видел в огне горна и чертей, и бога, и всю страшную человеческую жизнь, оттого он и плакал постоянно. Евсей слушал его речи, легко запоминал их, они одевали его сердце в жуткий трепет ожидания, и в нём всё более крепла надежда, что однажды он увидит что-то не похожее на жизнь в селе, на пьяных мужиков, злых баб, крикливых ребятишек, нечто ласковое и серьёзное, точно церковная служба.

У соседей кузнеца была слепая девочка Таня. Евсей подружился с нею, водил её гулять по селу, бережно помогал ей спускаться в овраг и тихим голосом рассказывал о чём-то, пугливо расширяя свои водянистые глаза. Эта дружба была замечена в селе и всем понравилась, но однажды мать слепой пришла к дяде Петру с жалобой, заявила, что Евсей

напугал Таню своими разговорами, теперь девочка не может оставаться одна, плачет, спать стала плохо, во сне мечется, вскакивает и кричит.

— Что он ей наговорил — понять нельзя, но только она всё о бесах лепечет и что небо чёрное, в дырках, а сквозь дырья огонь видно, бесы в нём кувыркаются, дразнят людей. Разве можно такое младенчику рассказывать?

— Поди сюда! — позвал дядя Пётр племянника.

И когда Евсей тихо подошёл из угла, он, положив ему на голову тяжёлую жёсткую руку, спросил:

— Говорил ты это?

— Говорил.

— Зачем?

— Не знаю...

Кузнец, не снимая руки, оттолкнул голову мальчика и, глядя ему в глаза, серьёзно сказал:

— Разве небо чёрное?

Евсей тихонько пробормотал:

— А какое же, если она не видит?..

— Кто?

— Танька...

— Да! — сказал кузнец и, подумав, спросил:

— А огонь чёрный? Это ты зачем выдумал?

Мальчик молчал, опустив глаза.

— Ну, говори, — чай, не бьют тебя! Зачем ты её этакое болтаешь, ну?

— Мне её жаль, — шёпотом ответил Евсей. Кузнец легонько отодвинул его в сторону и сказал:

— Больше с ней разговаривать не моги, слышал? Никогда. Ты, тётка Прасковья, будь покойна! Дружбу эту мы нарушим.

— Трёпку бы дать ему! — посоветовала мать слепой. — Девочка жила тихо, никому не мешала, а теперь отойти от неё нельзя...

Когда Прасковья ушла, кузнец молча взял Евсея за руку, вывел его на двор и там спросил:

— Говори теперь толком — зачем ты пугал девчонку?

Голос дяди звучал негромко, но строго. Евсей струсил и быстро, заикаясь, стал оправдываться:

— Я — не пугал, я только так, — она всё жалуется: я, говорит, только чёрное вижу, а ты — всё... Я и стал говорить ей, что всё чёрное, чтобы она не завидовала... Я вовсе не пугал...

Он всхлипнул, чувствуя себя обиженным. Дядя Пётр тихо засмеялся.

— Дурак! Ты бы подумал — ведь она всего три года как ослепла, — ведь не слепой она родилась, после оспы это у неё. Значит, помнит она, что как светит. Экий ты глупый!

— Я не глупый, — она мне поверила! — возразил Евсей, вытирая глаза.

— Ну, ладно. Только ты не водись с ней...
Слышишь?

— Не буду...

— А что плачешь — это ничего! Пусть думают, будто я тебя побил.

Кузнец толкнул Евсея в плечо и, усмехаясь, добавил:

— Жулики мы с тобой...

Тогда мальчуган ткнулся головой в бок ему, спрашивая дрожащим голосом:

— За что меня все обижают?

— Не знаю, сирота! — ответил дядя, подумав.

Обиды стали приносить мальчику едкое удовольствие, в нём туманно назревало убеждение, что он не такой, как все, потому его и обижают.

Село стояло на пригорке. За рекою тянулось топкое болото. Летом, после жарких дней, с топей поднимался лиловатый душный туман, а из-за мелкого леса всходила на небо красная луна. Болото дышало на село гнилым дыханием, посылало на людей тучи комаров, воздух ныл, плакал от их жадной суеты и тоскливого пения, люди до крови чесались, сердитые и жалкие.

Ночами по болоту плутали синие дрожащие огни, говорилось, что это бесприютные души грешников; люди сокрушённо вздыхали, жалея о них, а друг друга не жалели.

Но они могли жить дружно и весело, — Евсей однажды видел это.

У богатого мужика Веретенникова загорелся ночью овин; мальчик выбежал на огород, влез на ветлу и с неё смотрел на пожар.

Казалось ему, что в небе извивается многокрылое, гибкое тело страшной, дымно-чёрной птицы с огненным клювом. Наклонив красную, сверкающую голову к земле, Птица жадно рвёт солому огненно-острыми зубами, грызёт дерево. Её дымное тело, играя, вьётся в чёрном небе, падает на село, ползёт по крышам изб и снова пышно, легко вздымается кверху, не отрывая от земли пылающей красной головы, всё шире разевая яростный клюв.

Перед лицом огня все люди стали маленькими, чёрными. Они брызгали на него водой, тыкали в пламя длинными шестами, вырывая из зубов пылающие снопы, топтали их ногами и тоже кашляли, фыркали, чихали, задыхаясь в жирном дыму. Кричали, выли, сливая свои голоса со свистом и воем огня, и всё ближе надвигались на него, окружая красную голову чёрным живым кольцом, точно затягивая петлю на шее её. Петля разрывалась там и тут, её снова связывали и всё крепче, более узко, стягивали; огонь свирепо метался, прыгал, его тело пухло, надувалось, извиваясь, как змея, желая оторвать от земли пойманную людьми голову, и, обессилев, устало и

угрюмо падало на соседние овины, ползало по огородам, таяло, изорванное и слабое.

— Дружней! — кричали люди, подбадривая один другого.

— Воды! — звенели голоса женщин.

Женщины стояли цепью от пожара до реки, все рядом, чужие и родные, подруги и враги, и непрерывно по рукам у них ходили вёдра с водой.

— Живо, бабы! Милые — живо!

Было приятно и весело смотреть на эту хорошую, дружную жизнь в борьбе с огнём. Все подбадряли друг друга и хвалили за ловкость, силу, ругались ласково, крики были беззлобны — казалось, что при огне все увидели друг друга хорошими и каждый стал приятен другому. А когда, наконец, они победили огонь, им стало весело. Запели песни, засмеялись, захвастали друг перед другом своей работой, стали шутить, пожилые добыли водки и немножко выпили с устатка, а молодёжь почти до утра гуляла по улице, и всё было хорошо, как во сне.

Евсей не слышал ни одного злого крика, не заметил сердитого лица; всё время, пока горело, никто не плакал от боли и обиды, никто не ревел звериным рёвом дикой злобы, готовой на убийство.

На другой день он сказал дяде Петру:

— Как вчера хорошо было...

— Н-да, сирота, хорошо!.. Ещё немного — слизнул бы огонь половину села.

— Я — про людей! — пояснил мальчик. — Про то, как дружно взялись. Вот бы всегда так жить им, — всегда бы горело!

Кузнец подумал и удивлённо спросил:

— То есть, это выходит — чтобы всегда пожары были?

И, строго взглянув на Евсея, сказал, грозя ему пальцем:

— Ты, голова, гляди, не выдумай чего, на грех! Ишь ты, — пожары ему приятны!

II

Когда Евсей кончил учиться, кузнец сказал:

— Куда ж теперь приделать тебя? Здесь ты ни к чему. Вот поеду мехи покупать, свезу тебя, сирота, в город.

— Сам повезёшь? — спросил Евсей.

— Сам. Жалко тебе будет село покидать?

— Нет. Тебя — жалко...

Кузнец сунул в горн кусок железа и, поправляя щипцами угли, задумчиво отозвался:

— Меня жалеть нечего, я — большой...

Мужик, — как все.

— Ты лучше всех! — тихо молвил Евсей.

Дядя Пётр, должно быть, не слышал его слов, он не ответил, вынул из огня раскалённое железо, прищурил глаза и стал ковать, брызгая красными искрами. Потом вдруг остановился, медленно опустил руку с молотом и, усмехаясь, сказал:

— Поучить бы тебя надо чему-нибудь...

Евсей насторожился, ожидая поучения. Но кузнец снова сунул железо в огонь, вытер слёзы на щеках и, глядя в горн, забыл о племяннике. Пришёл мужик, принёс лопнувшую шину. Евсей спустился в овраг, сел там в кустах и просидел до заката солнца, ожидая, не останется ли дядя один в кузнице. Этого не случилось.

День отъезда из села стёрся в памяти мальчика, он помнил только, что когда выехали в поле — было темно и странно тесно, телегу сильно встряхивало, по бокам вставали чёрные, неподвижные деревья. Но чем дальше ехали, земля становилась обширнее и светлее. Дядя всю дорогу угрюмился, на вопросы отвечал неохотно, кратко и невнятно.

Ехали целый день, ночевали в маленькой деревне, ночью кто-то долго и хорошо играл на гармонике, плакала женщина, порою сердитый голос вскрикивал:

— Молчи!

И матерно ругался.

Дальше поехали тоже ночью. Две собаки провожали их, с визгом катаясь во тьме вокруг телеги, а когда выехали из деревни, в лесу, с левой стороны от дороги, угрюмо жалобно кричала выпь.

— Дай бог на счастье! — пробормотал кузнец.

Евсей заснул и проснулся, когда дядя легонько постукивал его кнутовищем по ногам.

— Гляди, сирота, — эй!

Сонным глазам мальчика город представился подобным огромному полю гречихи; густое, пёстрое, оно тянулось без конца, золотые главы церквей среди него — точно жёлтые цветы, тёмные морщины улиц — как межи.

— Ого-о! — сказал Евсей, когда присмотрелся. Город, вырастая, становился всё пестрей. Зелёный, красный, серый, золотой, он весь сверкал, отражая лучи солнца на стёклах бесчисленных окон и золоте церковных глав. Он зажигал в сердце ожидание необычного. Стоя на коленях, Евсей держался рукою за плечо дяди и неотрывно смотрел вперёд, а кузнец говорил ему:

— Ты живи так — сделал, что назначено, а сам в сторону. Бойких людей опасайся: из десятка бойких — один, может, добьётся, девять — разобьётся.

Говорил он нерешительно, как будто сомневаясь — то ли говорит, что нужно? Евсей слушал его чутко, серьёзно, ожидая услышать

какие-то особенные слова против опасностей новой жизни.

Кузнец вздохнул и продолжал более твёрдо, более уверенно:

— Меня, сирота, один раз чуть розгами не выпороли в волости, да. Женихом был я в то время, — мне венчаться надо, а они меня — пороть! Им это всё равно, они чужих делов не разбирают. А то губернатору жалобу подавал я — три с половиной месяца в остроге держали, — кроме побоев. Большие побои перенёс, даже кровью харкал, и глаза вот с той поры слезятся. Один полицейский, рыжеватый такой, небольшого роста, чем-то всё по голове меня тюкал.

— Ну, — тихонько сказал Евсей, — ты про это не говори...

— Да ведь чего ещё скажешь? — воскликнул дядя Пётр с усмешкой. Нечего, сирота, сказать-то.

Евсей уныло опустил голову.

Встречу им подвигались отдельные дома, чумазые, окутанные тяжёлыми запахами, вовлекая лошадь и телегу с седоками всё глубже в свои спутанные сети. На красных и зелёных крышах торчали бородавками трубы, из них подымался голубой и серый дым. Иные трубы высывались прямо из земли; уродливо высокие, грязные, они дымили густо и черно. Земля, плотно утоптанная, казалась пропитанной жирным дымом, отовсюду,

тиская воздух, лезли тяжёлые, пугающие звуки, — ухало, гудело, свистело, бранчливо грохало железо...

Дядя сказал:

— Это еще не город, это — фабрики.

Втянулись в широкую улицу, застроенную деревянными домами. Окрашенные в разные краски, пожилые, коренастые, они имели вид мирный и уютный. Особенно хороши были дома с палисадниками, точно подпоясанные зелёными фартуками, чистые и весёлые.

— Сейчас приедем! — сказал кузнец, поворачивая лошадь в узкий проулок. — Ты, сирота, не бойся...

Он остановил лошадь у открытых ворот большого дома, спрыгнул на землю и ушёл во двор. Дом был старый, весь покривился, под окнами выпучило брёвна, окна были маленькие, тусклые. На большом, грязном дворе стояло много пролёток, четыре мужика, окружив белую лошадь, хлопали её ладонями и громко кричали. Один из них, круглый, лысый, с большой жёлтой бородой и розовым лицом, увидав дядю Петра, широко размахнул руками и закричал:

— А-а!

...В тесной и тёмной комнате пили чай, лысый хохотал и вскрикивал так, что на столе звенела посуда. Было душно, крепко пахло горячим хлебом.

Евсею хотелось спать, и он всё поглядывал в угол, где за грязным пологом стояла широкая кровать со множеством подушек. Летало много больших, чёрных мух, они стучались в лоб, ползали по лицу, досадно щекотали вспотевшую кожу. Евсей стеснялся отгонять их.

— Мы тебя определим! — кричал ему лысый, весело кивая головой. Наталья! За Матвеичем послала?

Полная, чернобровая женщина с маленьким ртом и высокою грудью звучно ответила:

— Который раз спрашиваешь...

— Петруха, друг, — Наталья-то! Меды сотовые! — оглушительно кричал лысый.

Дядя Пётр, тихонько посмеиваясь, как будто боялся взглянуть на женщину, а она, пододвигая Евсею горячую ржаную лепёшку с творогом, говорила ему:

— Ешь больше!.. В городе надо много есть...

Евсей изнемогал от подавляющего ощущения сытости, но не смел отказаться и покорно жевал всё, что ему давали.

— Ешь! — кричал лысый и рассказывал дяде Петру — Это, я тебе скажу, счастье. Всего неделю как его лошадь задавила, мальчишку-то! Шёл он в трактир за кипятком, вдруг...

Незаметно и неслышно явился ещё человек, тоже лысый, но — маленький, худой, в тёмных

очках на большом носу и с длинным клочком седых волос на подбородке.

— В чём дело, людие? — негромко спросил он. Хозяин вскочил со стула, закричал, захохотал, а Евсею стало жутко.

Человек назвал хозяев и дядю Петра людьми и этим как бы отделил себя от них. Сел он не близко к столу, потом ещё отодвинулся в сторону от кузнеца и оглянулся вокруг, медленно двигая тонкой, сухой шеей. На голове у него, немного выше лба, над правым глазом, была большая шишка, маленькое острое ухо плотно прильнуло к черепу, точно желая спрятаться в короткой бахrome седых волос. Он был серый, какой-то пыльный. Евсей незаметно старался рассмотреть под очками глаза, но не мог, и это тревожило его.

Лысый хозяин кричал:

— Понимаешь — сирота!

— Это — козырь! — заметил человек с шишкой. Он сидел, упираясь маленькими тёмными руками в свои острые колени, говорил немного, и порою Евсей слышал какие-то особенные слова.

Наконец он сказал:

— На том и кончено...

Дядя Пётр тяжело пошевелился на стуле.

— Вот ты, сирота, при месте... А это хозяин твой...

Человек с шишкой на голове сквозь чёрные очки посмотрел на Евсея и сказал:

— Меня зовут Матвей Матвеич...

Отвернулся, взял стакан, бесшумно выпил чай, встал, молча поклонился и вышел.

Потом Евсей с дядей сидели на дворе, в тени около конюшен, и кузнец говорил осторожно, точно щупая словами что-то непонятное ему.

— Наверно — тебе хорошо будет у него... Старичок — судьбе отслужил, прошёл сквозь все грехи, живёт, чтобы маленький кусочек съесть, ворчит-мурлыкает, вроде сытого кота...

— А он — не колдун? — спросил мальчик.

— Зачем? В городах, надо думать, нет их, колдунов-то.

Но, подумав, кузнец добавил:

— Однако тебе это всё равно. И колдун — человек. Ты вот что знай: город — он опасный, он вон как приучает людей: жена у человека на богомолье ушла, а он сейчас на её место стряпуху посадил и — балуется. А старик такого примера показать не может... Я и говорю, что, мол, тебе с ним ладно будет, надо думать. Будешь ты жить за ним, как за кустом, сиди да поглядывай.

— А как он умрёт? — опасливо спросил Евсей.

— Авось, не скоро... Голову ты себе маслом смазывай, чтобы вихры не торчали...

Дядя заставил Евсея проститься с хозяевами и повёл его в город. Евсей смотрел на всё совиными глазами и жался к дяде. Хлопали двери магазинов, визжали блоки; треск пролёток и тяжёлый грохот телег, крики торговцев, шарканье и топот ног — все эти звуки сцепились вместе, спутались в душное, пыльное облако. Люди шли быстро, точно боялись опоздать куда-то, перебегали через улицу под мордами лошадей. Неугомонная суeta утомляла глаза, мальчик порою закрывал их, спотыкался и говорил дяде:

— Иди скорее...

Ему хотелось придти куда-нибудь к месту, в угол, где было бы не так шумно, суетно и жарко. Наконец вышли на маленькую площадь, в тесный круг старых домов; было видно, что все они опираются друг на друга плотно и крепко. Среди площади стоял фонтан, на земле лежали сырые тени, шум здесь был гуще, спокойнее.

— Гляди, — сказал Евсей, — одни дома, заборов-то вовсе нет...

Кузнец, вздохнув, ответил:

— Читай вывески — где тут Распопова лавка?

Вышли на середину площади, встали у фонтана, и Евсей, оглядываясь, зашевелил губами. Вывесок было много, они покрывали каждый дом, как пёстрые заплаты кафтан нищего. Когда на одной из них мальчик увидал нужную фамилию, он

зябко вздрогнул и, ничего не сказав дяде, стал внимательно осматривать вывеску. Маленькая, изъеденная ржавчиной, она помещалась над дверью, которая вела куда-то вниз, в тёмную дыру, а перед дверью на тротуаре была яма, с двух сторон ограждённая невысокой железной решёткою. Дом, где помещалась лавка, трёхэтажный, грязно-жёлтый, с облупившеюся штукатуркой. Лицо дома подслеповатое, хитрое, неласковое.

Спустились к двери по каменным ступеням — их было пять, — кузнец снял картуз и осторожно заглянул в лавку.

— Входите! — раздался внятный голос.

Хозяин сидел за столом у окна и пил чай. На голове у него была надета шёлковая чёрная шапочка без козырька.

— Бери стул, крестьянин, садись, выпей чаю. Мальчик, дай стакан, — вон там, на полке...

Хозяин протянул руку в тёмную глубину лавки, Евсей посмотрел туда, но никого не увидел. Тогда хозяин обратился к нему:

— Ну, что же ты! Разве ты не мальчик?

— Не привык ещё! — тихо сказал дядя Пётр. Старик снова взмахнул рукой.

— Вторая полка направо. Хозяина надо понимать с полуслова — такое правило.

Кузнец вздохнул. Евсей нащупал в сумраке посуду и быстро, спотыкаясь о груды книг на полу, подал стакан хозяину.

— Поставь на стол. А блюдечко?

— Ах ты! — воскликнул дядя Пётр. — Как же ты, — блюдечко-то?..

— Нужно очень долго учить его! — сказал хозяин, внушительно взглянув на кузнеца. — Теперь, мальчик, обойди лавку и заметь себе на память, что где лежит...

Евсей почувствовал, как будто в тело его забралось что-то повелительное и властно двигает им, куда хочет. Он съёжился, втянул голову в плечи и, напрягая зрение, стал осматривать лавку, прислушиваясь к словам хозяина. В лавке было прохладно, сумрачно. Узкая, длинная, как могила, она тесно заставлена полками, и на них, туго сжатые, стояли книги. На полу тоже валялись связки книг, в глубине лавки, загромаждая заднюю стену, они поднимались грудой почти до потолка. Кроме книг, Евсей нашёл только лестницу, зонт, галоши и белый горшок с отбитой ручкой. Было много пыли, и, должно быть, это от неё исходил тяжёлый запах.

— Я человек одинокий, тихий, и, если он угодит мне, может быть, я его сделаю совершенно счастливым. Всю жизнь я прожил честно и прямоверно; нечестного — не прощаю и, буде что

замечу, предам суду. Ибо ныне судят и малолетних, для чего образована тюрьма, именуемая колонией для малолетних преступников — для воришек...

Слова его, серые и тягучие, туго опутывали Евсея, вызывая в нём пугливое желание скорее угодить старику, понравиться ему.

— Прощайся, мальчику надо заняться делом.

Дядя Пётр встал, вздохнув.

— Ну, сирота... вот, значит, живи! Слушайся хозяина... Он горя тебе не захочет — зачем ему это? Не скучай...

— Ладно! — сказал Евсей.

— Надо говорить — хорошо, а не ладно! — поправил хозяин.

— Хорошо! — быстро повторил Евсей.

— Ну, прощай! — положив на плечо ему жёсткую руку, сказал кузнец и, тряхнув племянника, ушёл, точно вдруг испугался чего-то.

Евсей вздрогнул, стиснутый холодной печалью, шагнул к двери и вопросительно остановил круглые глаза на жёлтом лице хозяина. Старик крутил пальцами седой клок на подбородке, глядя на него сверху вниз, и мальчику показалось, что он видит большие, тускло-чёрные глаза. Несколько секунд они стояли так, чего-то ожидая друг от друга, и в груди мальчика трепетно забился ещё неведомый ему страх. Но старик взял с полки книгу и, указывая на обложку пальцем, спросил:

— Это какая цифра?

— 1873, — ответил Евсей, низко опустив голову.

— Так.

Хозяин коснулся сухим пальцем подбородка Евсея.

— Смотри на меня.

Мальчик разогнул шею и торопливо пробормотал, закрыв глаза:

— Дяденька, я всегда буду слушаться... — И замер, ничего не видя.

— Поди сюда...

Старик сидел на стуле, упираясь ладонями в колени. Он снял с головы шапочку и вытирал лысину платком. Очки его съехали на конец носа, он смотрел в лицо Евсея через них. Теперь у него две пары глаз; настоящие маленькие, неподвижные, тёмно-серого цвета, с красными веками.

— Тебя часто били?

— Часто! — тихо сказал Евсей. — Кто?

— Мальчишки...

Хозяин опустил очки на глаза, пожевал тёмными губами и сказал:

— Мальчишки и здесь драчуны, ты с ними не водись, слышишь?

— Слышу.

— Опасайся их! Озорники и воришки. Ты знай — я тебя худому не научу. Я человек хороший,

меня надо любить. Будешь меня любить — тебе хорошо будет со мной. Понял?

— Понял.

Лицо хозяина стало прежним. Он взял Евсея за руку и повёл его в глубину лавки, говоря:

— Вот — видишь — книги. На каждой поставлен год, в каждом году по двенадцать книг. Подбери их в порядке. Как ты это сделаешь?

Евсей подумал и робко ответил:

— Не знаю...

— А я тебе не скажу. Ты грамотный и должен сам догадаться...

Сухой, ровный голос точно сёк мальчика. Сдерживая слёзы, он стал развязывать пачки и каждый раз, когда книга шлёпалась на пол, вздрагивал, оглядывался. Хозяин сидел за столом и писал. Тонко скрипело перо. Мимо двери быстро мелькали ноги, их тени падали в лавку и прыгали по ней. Из глаз Евсея, одна за другой, покатались слёзы, он испугался их, быстро вытер лицо пыльными руками и, полный тёмного страха, напряжённо стал разбирать книги. Сначала это было трудно, но через несколько минут он уже стал погружаться в знакомое ему состояние бездумья, в привычную пустоту, которая властно охватывала его после побоев и обид, когда он сидел одиноко где-нибудь в углу. Глаза его ловили цифру года, название месяца, руки машинально укладывали

книги в ряд; сидя на полу, он равномерно раскачивал своё тело и всё глубже опускался в спокойный омут полусознательного отрицания действительности. И, как всегда, в такие минуты, глубоко в нём тлела смутная надежда, разгоралось ожидание чего-то иного, не похожего на окружающее. Иногда в памяти вспыхивало ёмкое слово:

«Пройдёт...»

Оно тепло обнимало сердце обещанием необычного, руки мальчика невольно начинали двигаться быстрее, и ход времени становился незаметен.

— Вот видишь, — понял, как нужно делать!

Евсей вздрогнул, он не слышал, когда подошёл старик, и, посмотрев на свою работу, спросил:

— Так?

— Бесспорно. Чаю хочешь?

— Не хочу.

— Должен говорить: спасибо, или благодарю вас — не хочу! — сказал хозяин. — Работай...

И ушёл. Взглянув вслед ему, Евсей увидел в лавке пожилого человека без усов и бороды, в круглой шляпе, сдвинутой на затылок, с палкой в руке. Он сидел за столом, расставляя чёрные и белые штучки. Когда Евсей снова принялся за

работу — стали раздаваться отрывистые возгласы гостя и хозяина:

— Тур...

— Шах королеве...

В лавку устало опускался шум улицы, странные слова тали в нём, точно лягушки на болоте. «Чего они делают?» — опасливо подумал мальчик и тихонько вздохнул, чувствуя, что отовсюду на него двигается что-то особенное, но не то, чего он робко ждал. Пыль щекотала нос и глаза, хрустела на зубах. Вспомнились слова дяди о старике:

«Будешь ты жить за ним, как за кустом...»

Темнело.

— Шах и мат! — густо крикнул гость, а хозяин, щёлкнув языком, громко приказал:

— Мальчик, лавку запирать!

Старик занимал две маленькие комнаты в третьем этаже того же дома, где помещалась лавка. В первой комнате с окном стоял большой сундук и шкаф.

— Здесь будешь спать! — сказал хозяин.

Два окна второй комнаты выходили на улицу, из них было видно равнину бугроватых крыш и розовое небо. В углу перед иконами дрожал огонёк в синей стеклянной лампаде, в другом стояла кровать, покрытая красным одеялом. На стенах

висели яркие портреты царя и генералов. В комнате было тесно, но чисто и пахло, как в церкви.

Стоя у двери, Евсей осматривал жилище хозяина; старик стоял рядом с ним и говорил:

— Заметь порядок вещей, и чтобы всегда было так, как есть!

У стены помещался широкий чёрный диван, круглый стол, вокруг стола три стула, тоже чёрных. Этот угол комнаты имел вид печальный и зловещий.

Вошла высокая белолицая женщина, с овечьими глазами, она спросила тихим, певучим голосом:

— Подавать ужин?

— Давай... подавайте, Раиса Петровна...

— Новый мальчик?

— Да. Зовут — Евсей...

Женщина ушла.

— Притвори дверь! — сказал старик, и когда Евсей сделал это, он продолжал, понизив голос:

— Она — хозяйка квартиры, я у неё снимаю комнаты с обедом и ужином, понял?

— Понял...

— А у тебя один хозяин — я. Понимаешь?

— Да, — ответил Евсей.

— Значит, ты должен слушаться только меня... Ступай в кухню, умойся.

Умываясь, Евсей незаметно старался рассмотреть хозяйку квартиры, женщина собирала ужин, раскладывая на большом подносе тарелки, ножи, хлеб. Её большое круглое лицо с тонкими бровями казалось добрым. Гладко причёсанные тёмные волосы, немигающие глаза и широкий нос вызывали у мальчика догадку:

«Смирная...»

Заметив, что она, плотно сжав тонкие, красные губы, тоже следит за ним, он смутился и пролил воду на пол.

— Подотри! — сказала она не сердито. — Тряпка под стулом.

Когда он вошёл в комнату, старик осмотрел его и спросил:

— Что она тебе говорила?

Но Евсей не успел ему ответить — женщина внесла поднос, поставила его на стол и сказала:

— Ну, я ухожу...

— Хорошо! — ответил хозяин.

Она подняла руку, пригладила волосы на виске — пальцы у неё были длинные — и ушла.

Сели ужинать. Хозяин ел не торопясь, громко чавкал, порою устало вздыхал. Когда стали есть мелко нарубленное жареное мясо, он сказал Евсею:

— Видишь, какая хорошая пища? Я всегда кушаю хорошее...

После ужина он приказал Евсею отнести посуду кухню, научил его зажигать лампу, потом сказал:

— Теперь спи. В шкафе лежит войлок, подушка и одеяло. Это — твоё. Завтра я куплю тебе хорошую одежду. Иди!

Когда, полусонный от тягостных ощущений, мальчик лёг, хозяин вышел к нему и спросил:

— Хорошо?

На сундуке было жёстко, но Евсей ответил:

— Хорошо...

— Если жарко — отвори окно.

Евсей немедленно сделал это. Окно выходило на крышу соседнего дома. На ней — трубы, четыре, все одинаковые. Посмотрел на звёзды тоскливыми глазами робкого зверька, посаженного в клетку, но звёзды ничего не говорили его сердцу. Свалился на сундук, закутался с головой одеялом и крепко закрыл глаза. Стало душно, он высунул голову и, не открывая глаз, прислушался — в комнате хозяина раздался сухой, внятный голос:

— «Живый в помощи вышнего, в крове бога небесного...»

Евсей понял, что старик читает псалтырь... И, чутко вслушиваясь в знакомые, но непонятные слова царя Давида, мальчик заснул.

Жизнь его пошла ровно и гладко. Он хотел нравиться хозяину, чувствовал, понимал, что это выгодно для него, но относился к старику с подстерегающей осторожностью, без тепла в груди. Страх перед людьми рождал в нём желание угодить им, готовность на все услуги ради самозащиты от возможного нападения. Постоянное ожидание опасности развивало острую наблюдательность, а это свойство ещё более углубляло недоверие к людям.

Он присматривался к странной жизни дома и не понимал её, — от подвалов до крыши дом был тесно набит людьми, и каждый день с утра до вечера они возились в нём, точно раки в корзине. Работали здесь больше, чем в деревне, и злились крепче, острее. Жили беспокойно, шумно, торопливо — порою казалось, что люди хотят скорее кончить всю работу, — они ждут праздника, желают встретить его свободными, чисто вымытые, мирно, со спокойной радостью. Сердце мальчика замирало, в нём тихо бился вопрос:

«Проходит?..»

Но праздника не было. Люди понукали друг друга, ругались, иногда дрались и почти каждый день говорили что-нибудь дурное друг о друге.

По утрам хозяин уходил в лавку, а Евсей оставался в квартире, чтобы привести комнаты в должный порядок. Кончив это, он умывался, шёл в трактир за кипятком и потом в лавку — там они с хозяином пили утренний чай. И почти всегда старик спрашивал его:

— Ну, что?..

— Ничего...

— Мало! — говорил хозяин.

Но однажды Евсей ответил иначе:

— Сегодня часовщик говорил скорняковой кухарке, что вы краденое принимаете...

Он сказал это неожиданно для себя и тотчас же, весь охваченный дрожью страха, опустил голову. Старик тихо засмеялся. Потом протяжно и без сердца выговорил:

— Ме-ерзавец...

Его тёмные, сухие губы вздрогнули.

— Спасибо тебе, что сказал мне это, спасибо!

С той поры Евсей стал внимательно прислушиваться к разговорам и всё, что слышал, не медля, тихим голосом передавал хозяину, глядя прямо в лицо ему.

Через несколько дней, убирая комнату, он нашёл на полу смятый бумажный рубль, и когда за чаем старик спросил его:

— Ну, что?

— Вот — рубль нашёл...

— Так. Ты нашёл рубль, а я — золото! — сказал хозяин, усмехаясь.

Другой раз он поднял у входа в лавку двадцать копеек и тоже отдал монету хозяину. Старик опустил очки на конец носа и, потирая двугривенный пальцами, несколько секунд молча смотрел в лицо мальчика.

— По закону, — вдумчиво заговорил он, — треть находки — шесть копеек принадлежит тебе...

Он замолчал, вздохнул и сказал, опуская монету в карман жилета:

— Однако — непонятный ты мальчик...

А шести копеек не отдал ему.

Тихий, незаметный, а когда его замечали — угодливый, Климов почти не обращал на себя внимания людей, а сам упорно следил за ними расплывчатым взглядом совиных глаз, — взглядом, который не оставался в памяти тех, кто встречал его.

С первых дней его сильно заинтересовала молчаливая, смирная Раиса Петровна. Каждый вечер она надевала тёмное, шумящее платье, чёрную шляпу и уходила куда-то; утром, когда он убирал комнаты, она ещё спала. Он видел её только по вечерам перед ужином и то не каждый день; её жизнь казалась ему таинственной, и вся она, молчаливая, с белым лицом и остановившимися глазами, возбуждала у него неясные намеки на

что-то особенное. Он незаметно уверил себя, что она живёт лучше, чем все, знает больше всех, в нём слагалось непонятное ему, но хорошее чувство к этой женщине. С каждым днём она казалась ему всё более красивой.

Однажды он проснулся на рассвете, пошёл в кухню пить и вдруг услышал, что кто-то отпирает дверь из сеней. Испуганный, он бросился в свою комнату, лёг, закрылся одеялом, стараясь прижаться к сундуку как можно плотнее, и через минуту, высунув ухо, услышал в кухне тяжёлые шаги, шелест платья и голос Раисы Петровны:

— Эх-х, в-вы!.. — говорила она.

Он встал, осторожно подошёл к двери и заглянул в кухню.

Смирная женщина сидела у окна, снимая шляпу. Лицо её казалось более белым, чем всегда, из глаз обильно текли слёзы. Её большое тело качалось, руки двигались медленно.

— Знаю я вас, — сказала она, мотнув головой, и встала на ноги, опираясь о подоконник.

В комнате хозяина скрипнула кровать. Евсей отскочил к сундуку, лёг, закутался.

«Обидели!» — думал он и радовался её слезам, они приближали к нему эту смирную женщину, жившую тайной, ночной жизнью.

Кто-то прошёл мимо него крадущимся шагом. Он поднял голову и вдруг вскочил, точно обожжённый тонким, злым криком:

— У-уйди!

Из кухни, согнувшись, быстро вышел хозяин в ночном белье, остановился и сказал Евсею, присвистывая:

— Спи, спи, — чего ты? Спи...

Утром в лавке старик спросил:

— Испугался ночью-то?

— Да...

— Выпила она, — с ней случается это...

И заговорил строго:

— Ты однако знай — это женщина весьма хитрая. Она — молчит, а — злая. Она — грешница, играет на рояли. Женщина, играющая на рояли, называется тапёрша. А знаешь ты, что такое публичный дом?

Евсей знал об этом из разговоров скорняков и стекольщиков на дворе, но, желая знать больше, ответил:

— Не знаю...

Старик объяснил ему очень понятно, с жаром. Порою он отплёвывался, морщил лицо, выражая отвращение к мерзости. Евсей смотрел на старика и почему-то не верил в его отвращение и поверил всему, что сказал хозяин о публичном доме. Но всё,

что говорил старик о женщине, увеличило чувство недоверия, с которым он относился к хозяину.

Кроме Раисы, любопытство Евсея задевал ученик стекольщика Анатолий, тонкий мальчуган, с лохматыми волосами на голове, курносый, пропитанный запахом масла, всегда весёлый. Голос у него был высокий, и Евсею нравилось слышать певучие, светлые крики мальчика:

— Стиёкла вставляять!

Он первый заговорил с Евсеем. Евсей мёл лестницу и вдруг услышал снизу громкий вопрос:

— Эй, ты, хивря, — какой губернии?

— Здешний! — ответил Евсей.

— А я — костромской. Сколько лет тебе?

— Тринадцатый...

— И мне тоже. Идём со мной?

— Куда?

— На реку, купаться...

— Мне в лавку надо...

— Сегодня воскресенье...

— Всё равно...

— Ну — чёрт с тобой!

И стекольщик исчез, не обидев Евсея своим ругательством.

Он целый день ходил по городу с ящиком стёкол, возвращался домой почти всегда в тот час, когда запирали лавку, и весь вечер со двора доносился его неугомонный голос, смех, свист,

пение. Его все ругали, и все любили возиться с ним, хохотали над его шалостями. Евсея удивляла смелость, с которой курносый и лохматый мальчуган обращался со взрослыми, он испытывал чувство зависти, когда видел, как золотошвейки бегали по двору, догоняя весёлого озорника, и наконец его властно потянуло к стекольщику чувство преклонения перед ним. Погружаясь в свои неясные мечты о тихой и чистой жизни, теперь он находил в ней место и для буйного, лохматого мальчика. После ужина Евсей спрашивал хозяина:

— Можно мне на двор пойти?

Старик неохотно разрешал это.

Быстро сбегая с лестницы, Евсей садился где-нибудь в тени и оттуда наблюдал за Анатолием. Двор был маленький, со всех сторон его ограждали высокие стены домов, у стен лежал грудями разнообразный хлам, на нём сидели, отдыхая, мастеровые, мастерицы, а на середине его Анатолий давал представление.

— Скорняк Зворыкин в церковь пошёл! — вскрикивал он.

И Евсей изумлённо видел маленького толстого скорняка, с отвисшей нижней губой и прискорбно сощуренными глазами. Выпучив живот и склонив набок голову, Анатолий мелкими шагами, но явно без охоты шёл до ворот, публика провожала его смехом и одобряющими криками.

— Зворыкин из трактира! — возглашал мальчик и катился по двору, бессильно болтая руками и ногами, тупо вытаращив глаза, противно и смешно распутив губы. Останавливался, колотил себя в грудь руками и свистящим голосом говорил:

— Гос-споди, — ну как я доволен! Бож-же мой, как всё х-хорошо и всё приятно рабу твоему Иакову Иванычу, господи! Стекольщик Кузин — злодей б-богу моему и всем людям — скот!.. Господи!

Публика хохотала, но Евсей не смеялся. Его подавляло сложное чувство удивления и зависти, ожидание новых выходов Анатолия сливалось у него с желанием видеть этого мальчика испуганным и обиженным, — ему было досадно, неприятно, что стекольщик изображает человека не опасным, а только смешным.

— Стекольщик Кузин идёт! — кричал Анатолий.

Перед Евсеем вставал краснорожий, всегда полупьяный, тощий мужик, с рыжей раздвоенной бородой и засученными рукавами грязной рубахи. Заложив правую руку за нагрудник фартука, медленно разглаживая левой бороду, нахмуренный, угрюмый, он двигается медленно и, глядя исподлобья, скрипит надорванным, сиплым голосом:

— Ты опять ругаешься, еретик? Это долго ли ещё буду я слышать, а? Окаянный ты, пострели тебя горой...

— Кощей Распопов! — объявлял Анатолий.

Мимо Евсея, неслышно двигая ногами, скользила гладкая, острая фигурка хозяина, он смешно поводил носом, как бы что-то вынюхивая, быстро кивал головой и, взмахивая маленькой ручкой, дёргал себя за бороду. В этом образе было что-то жалкое, смешное. Досада Евсея усиливалась, он хорошо знал, что хозяин не таков, каким его показывает маленький стекольщик.

Изобразив хозяев, Анатолий принимался передразнивать кого-нибудь из публики. Неистощимый, он до поздней ночи звенел колокольчиком, вызывая беззлобный смех. Иногда задетый им человек бросался ловить его, начиналась шумная беготня. Евсей вздыхал завистливо.

Заметив Климова, Анатолий вытаскивал его за руку на середину двора и представлял публике:

— Вот он — сахар с мылом! Кощей Распопова двоюродный сморчок! — И, повёртывая тонкую фигуру мальчика во все стороны, он складно говорил смешные, странные слова о хозяине, Раисе Петровне и самом Евсее.

— Пусти! — тихонько просил его мальчик, стараясь вырвать руку из крепкой руки

стекольщика, а сам внимательно слушал, желая и стараясь понять намёки, грязь которых чувствовалась им. Если Евсей вырывался сильно, публика, обыкновенно женщины, вяло говорили Анатолию:

— Пусти его...

Их заступничество почему-то всегда было неприятно Евсею, Анатолий же впадал в раздражение, начинал толкать и щипать его, вызывая на драку. Некоторые из мужчин советовали:

— А ну, подеритесь, — кто кого?

Женщины возражали:

— Не надо!

И снова Евсей чувствовал в этих словах нечто неприятное.

Кончалось тем, что Анатолий пренебрежительно отталкивал Евсея в сторону.

— Эх ты, хивря!

Однажды утром, после такой сцены, Евсей встретил Анатолия на дворе с ящиком стёкол и вдруг, не желая, сказал ему:

— Зачем ты смеёшься надо мной?

Стекольщик взглянул на него и спросил:

— А что?

Евсей не умел ответить.

— Драться хочешь? — снова спросил Анатолий. — Идём в сарай!

Он говорил спокойно и деловито.

— Нет, я не хочу драться, — тихо ответил Евсей.

— И не надо — я тебя побью! — сказал стекольщик и потом уверенно добавил: — Обязательно побью!

Евсей вздохнул, — он не понимал этого мальчика. И, желая понять, вторично спросил тихим голосом:

— Я говорю — за что ты смеёшься надо мной?

Анатолию, должно быть, стало неловко, он мигнул бойкими глазами, усмехнулся и вдруг сердито крикнул:

— Пошёл к чертям! Чего пристаёшь? Как дам тебе!..

Евсей убежал в лавку и целый день чувствовал в сердце зуд незаслуженной обиды. Она не порвала его влечения к Анатолию, но заставила его уходить со двора, как только Анатолий замечал его. И он устранил стекольщика из области своих грёз...

Вскоре после этой неудачной попытки подойти к человеку, ночью, его разбудили голоса в комнате хозяина. Он прислушался — там была Раиса. Ему захотелось убедить себя в этом, он тихо встал, подошёл к плотно закрытой двери и приложил глаз к замочной скважине.

Его сонный глаз прежде всего остановился на огне свечи и ослеп. Потом он увидел на чёрном диване большое выпуклое тело женщины. Она лежала вверх лицом, нагая, и, положив себе на грудь волосы, медленно заплетала их в косу длинными пальцами. На белом теле женщины дрожали отсветы огня, и всё оно, чистое, яркое, казалось лёгким, подобно облаку. Это было очень красиво. Она что-то говорила, но слов он не слышал, а только голос, певучий, усталый и жалобный. Хозяин в ночном белье, сидя на стуле у дивана, наливал вино в стакан, рука у него дрожала и клочок седых волос на подбородке тоже дрожал. Очки он снял, лицо его было противно.

— Да, да, да, — говорил он, — ишь ты какая...

Евсей отошёл от двери, лёг в постель и подумал:

«Женились...»

Ему стало жалко Раису — зачем она сделалась женою человека, который говорит о ней дурно? И, должно быть, ей очень холодно лежать, голой на кожаном диване. Мелькнула у него нехорошая мысль, но она подтверждала слова старика о Раисе, и Евсей пугливо прогнал эту мысль.

Вечером на другой день Раиса, как всегда, внесла ужин, обычным голосом сказав:

— Я ухожу...

И так же обычно, сухо и небрежно говорил с ней хозяин. Евсей подумал, что нагую женщину он видел во сне.

Неожиданно и ненужно явился дядя Пётр. Он поседел, сморщился, стал ниже ростом.

— А я — слепну, сирота! — говорил он, шумно схлёбывая чай с блюдечка и улыбаясь мокрыми глазами. — Работать уж не могу, и надо мне, значит, по милостыню идти. С Яшкой нет сладу — в город просится... Не пустишь убежит... Он — такой...

Всё, что говорил кузнец, было тяжело слушать. Дядя смотрел виновато, и Евсею было неловко, стыдно за него перед хозяином. Когда дядя собрался уходить, Евсей тихонько сунул ему в руку три рубля и проводил его с удовольствием.

Книжная лавка постепенно возбуждала у мальчика смутные подозрения своим подобием могилы, туго набитой умершими книгами. Все они были растрёпаны, изжёваны, от них шёл прелый, тухлый запах. Покупали их мало, этому Евсей не удивлялся, но отношение хозяина к покупателям и книгам всё более возбуждало его любопытство.

Бывало так: старик брал в руки книгу, осторожно перебрасывал её ветхие страницы, темными пальчиками гладил переплёт, тихонько улыбался, кивая головкой, и тогда казалось, что он ласкает книгу, как что-то живое, играет с нею,

точно с кошкой. Читая, он, подобно тому, как дядя Пётр с огнём горна, вёл с книгой тихую ворчливую беседу, губы его вздрагивали насмешливо, кивая головой, он бормотал:

— Так, так, — ишь ты? А-а, вот что? А-ах, дерзость!.. Этого не будет, — не-ет!..

Эти странные, оспаривающие кого-то восклицания, удивляя Евсея, пугали его, указывали на таинственную двойственность жизни старика.

— Ты не читай книг, — сказал однажды хозяин. — Книга — блуд, блудодейственного ума чадо. Она всего касается, смущает, тревожит. Раньше были хорошие исторические книги, спокойных людей повести о прошлом, а теперь всякая книга хочет раздеть человека, который должен жить скрытно и плотью и духом, дабы защитить себя от диавола любопытства, лишаящего веры... Книга не вредна человеку только в старости.

Евсей запоминал эти речи, и хотя они были непонятны ему, но утверждали ощущение тайны, облекающей жизнь хозяина.

Продавая книгу, старик точно обнюхивал покупателя, говорил с ним необычно, то слишком громко и торопливо, то понижая голос до шёпота; его тёмные очки неподвижно упирались в лицо покупателя. Часто, проводив студента, купившего книгу, он ухмылялся вслед ему, а однажды

погрозил пальцем в спину уходившего человека, маленького, красивого, с чёрненькими усиками на бледном лице. Чаще других покупали книги студенты, иногда приходили старики, эти долго рылись в книгах и жестоко спорили о цене. Почти каждый день заходил человек в котелке с широким, угреватым носом на бритом, плоском и толстом лице. Его звали Доримедонт Лукич, он носил на правой руке большой золотой перстень, а играя с хозяином в шахматы, громко сопел носом и дёргал себя левой рукой за ухо. Он тоже приносил какие-то книги и свёртки бумаг, хозяин брал их, одобрительно кивал головой, тихо смеялся и прятал в стол или ставил в угол, на полку за своей спиной. Евсей не замечал, чтобы хозяин платил за эти книжки, но он продавал их.

Одно время в лавку стал заходить чаще других знакомых покупателей высокий голубоглазый студент с рыжими усами, в фуражке, сдвинутой на затылок и открывавшей большой белый лоб. Он говорил густым голосом и всегда покупал много старых журналов.

Однажды хозяин предложил ему книгу, принесённую Доримедонтом, и пока студент молча перелистывал её — старик торопливым шёпотом рассказывал ему что-то.

— Занятно! — воскликнул студент, усмехаясь. — Ах вы, старый греховодник! Не боитесь, а?

Хозяин вздохнул и ответил:

— Если чувствуешь бессомненную правду, то должен помогать ей по мере слабых сил...

Они долго шептались, и, наконец, студент сказал:

— Запишите адрес.

Старик записал его на отдельной бумажке, а когда пришёл Доримедонт и спросил: «Что новенького, Матвеевич?» — хозяин протянул ему бумажку и сказал, ухмыляясь:

— Вот — новенький...

— Та-ак. Никодим Архангельский, — прочитал Доримедонт. — Дело! Поглядим, каков Никодим.

И через некоторое время, садясь играть в шахматы, он сообщил хозяину:

— А этот Никодим оказался икрюной рыбой! Нашли у него препорядочно всякой всячины...

— Книжки мне возврати, — молвил хозяин, двигая фигуру.

— Обязательно!

Голубоглазый студент больше не являлся. Исчез и маленький молодой человек с чёрными усами. Всё это, питая подозрительность мальчика, намекало на какие-то тайны, загадки.

Книги не возбуждали в нём интереса, он пробовал читать, но никогда не мог сосредоточить на книге свою мысль. Уже загромождённая массой наблюдений, она дробилась на мелочах, расплывалась и наконец исчезала, испаряясь, как тонкая струя воды на камне в жаркий день.

Работая, двигаясь, он не умел думать, движение как бы разрывало паутину мысли, мальчик исполнял работу не спеша, аккуратно, точно, как машина, но не вносил в неё ничего от себя.

Когда же он был свободен и сидел неподвижно — им овладевало приятное ощущение летания в прозрачном тумане, который обнимал жизнь и всё смягчал, претворяя шумную действительность в тихий полусон.

В этом настроении дни проходили неуловимо быстро. Внешняя жизнь была однообразна, мозг незаметно засорялся липкой пылью буден. По городу Климов ходил редко, город не нравился ему.

Непрерывное движение утомляло глаза, шум наливало голову тяжёлой, отупляющей мутой; город был подобен чудовищу сказки, оскалившему сотни жадных ртов, ревущему сотнями ненасытных глоток.

По утрам, убирая комнату хозяина, он, высунув голову из окна, смотрел на дно узкой,

глубокой улицы, и — видел всегда одних и тех же людей, и знал, что каждый из них будет делать через час и завтра, всегда. Лавочные мальчишки были знакомы и неприятны, опасны своим озорством. Каждый человек казался прикованным к своему делу, как собака к своей конуре. Иногда мелькало или звучало что-то новое, но его трудно было понять в густой массе знакомого, обычного и неприятного.

Церкви города тоже не нравились ему — в них было слишком светло и чересчур сильны запахи ладана, масла. Евсей не выносил крепких запахов, от них кружилась голова.

Иногда в праздник хозяин запирал лавку и водил Евсея по городу. Ходили долго, медленно, старик указывал дома богатых и знатных людей, говорил о их жизни, в его рассказах было много цифр, женщин, убежавших от мужей, покойников и похорон. Толковал он об этом торжественно, сухо и всё порицал. Только рассказывая — кто, от чего и как умер, старик оживлялся и говорил так, точно дела смерти были самые мудрые и интересные дела на земле.

После такой прогулки он угощал Евсея чаем в трактире, где играла музыкальная машина и все знали старика, относились к нему с боязливым почтением. Усталый Евсей под грохот и вой

музыки, окутанный облаком тяжёлых запахов, впадал в полусонное оцепенение.

Но однажды хозяин привёл его в дом, где было собрано бесчисленное количество красивых вещей, удивительное оружие, одежды из шёлка и парчи; в душе мальчика вдруг всколыхнулись забытые сказки матери, радостно вздрогнула окрылённая надежда, он долго ходил по комнатам, растерянно мигая глазами, а когда возвратились домой, спросил хозяина:

— Это чьё?..

— Казённое, царёво! — внушительно объяснил старик.

Мальчик спросил иначе:

— А кто носил такие кафтаны и сабли?

— Цари, бояре, разные государевы люди...

— Теперь их нет?

— Как нет? Есть. Без них — нельзя. Только теперь одеваются не так.

— Зачем?

— Дешевле. Раньше Россия богаче была, а теперь — ограбили её разные чужие нам люди — жидаы, поляки, немцы...

Он долго говорил о том, что Россию никто не любит, все обкрадывают её и желают ей всякого зла. Когда он говорил много — Евсей переставал верить ему и понимать его. Но всё-таки спросил:

— А я — государев человек?

— Как же! У нас всё государево. Вся земля — божья, вся Русь — царёва!

Перед глазами Евсея закружились пёстрым хороводом статные, красивые люди в блестящих одеждах, возникала другая, сказочная жизнь. Она оставалась с ним, когда он лёг спать; среди этой жизни он видел себя в голубом кафтане с золотом, в красных сапогах из сафьяна и Раису в парче, украшенной самоцветными камнями.

«Значит — проходит!» — подумал он.

Эта мысль снова вызывала надежду на иное будущее.

За дверью сухо звучал голос хозяина:

— «Вскую шаташася языцы и аггели помышляша злое...»

IV

Когда он с хозяином, закрыв лавку, вошёл во двор, их встретил звонкий, трепетный крик Анатолия:

— Не буду, — дяденька!.. Никогда-а-а...

Евсей вздрогнул и невольно с тихим торжеством сказал:

— Ага-а...

Ему было приятно слышать крик страха и боли, исходивший из груди весёлого, всеми любимого мальчика, и он попросил хозяина:

— Я останусь на дворе?

— Ужинать надо. Впрочем, я тоже пойду погляжу, как учат сорванца...

За крыльцом дома, у дверей в каменный сарай, собралась публика, в сарае раздавались тяжёлые мокрые шлепки и рыдающий голос Анатолия:

— Дяденька, не виноват! Господи, я не буду, — пусти!.. Христа ради...

Часовщик Якубов, раскуривая папиросу, сказал:

— Так его!..

Косая золотошвейка Зина поддержала длинного и жёлтого часовщика:

— Авось, тише будет, покоя от него нет никому на дворе...

А хозяин Евсея спросил:

— Говорят, он передразнивать людей мастер?

— Как же! — ответила скорнякова кухарка. — Такой дьяволёнок — всех осмеёт...

В сарае раздавался глухой шорох, точно по старым доскам его пола таскали из стороны в сторону мешок, набитый чем-то мягким, ползал задыхающийся, сиплый голос Кузина и всё более глухие, всё более редкие крики Анатолия:

— Ой... заступитесь... Господи!..

Слова начали сливаться в тонкий, захлёбывающийся стон... Евсей вздрагивал,

вспоминая боль побоев. Говор зрителей будил в нём спутанное чувство — было боязно стоять среди людей, которые вчера ещё охотно и весело любовались бойким мальчиком, а сейчас с удовольствием смотрят, как его бьют. Но теперь эти усталые от работы, сердитые люди казались ему более понятными, он верил, что никто из них не притворяется, глядя на истязание человека с искренним любопытством. Было немного жалко Анатолия и всё-таки приятно слышать его стоны. Мелькнула мысль:

«Теперь будет смирнее и подружится со мной...»

Вдруг явился скорняк — подмастерье Николай, маленький, чёрный, кудрявый, с длинными руками. Как всегда, дерзкий, никого не уважающий, он растолкал публику, вошёл в сарай и оттуда дважды тяжело ухнул его голос:

— Оставь! Прочь!

Все отшатнулись от дверей. Из сарая выскочил Кузин, сел на землю, схватился руками за голову и, вытаращив глаза, сипло завыл:

— Ка-рау-ул...

Идём-ка, дальше от греха! — сказал хозяин. Евсей подвинулся в угол ко крыльцу и встал там, наблюдая.

Вышел Николай. На руках у него бессильно раскинулось маленькое, измятое тело мальчика. Он положил его на землю, выпрямился и крикнул:

— Бабы, воды, стервы...

Зина и кухарка побежали.

Кузин, закидывая голову, глухо сопел:

— Разбой, караул...

Николай обернулся к нему, ударил ногой в грудь и опрокинул на спину, потом начал кричать, сверкая белками чёрных глаз:

— Сволочи! Ребёнка убивают, а вам — комедия! Разобью хари всем!

Ему со всех сторон отвечали ругательствами, но никто не смел подойти близко.

— Идём! — сказал хозяин, взяв Евсея за руку. Они пошли и увидели, что Кузин, согнувшись, бесшумно бежит к воротам.

Когда мальчик остался один, он почувствовал, что в нём исчезла зависть к Анатолию, и, напрягая свой вялый мозг, объяснил себе то, что видел: это только казалось, что забавного Анатолия любили, на самом деле не было этого. Все любят драться, любят смотреть, как дерутся, все любят быть жестокими. Николай вступился за Анатолия потому, что он любит бить Кузина и бьёт его почти каждый праздник. Смелый, сильный, он может поколотить любого человека в этом доме, а его

колотят в полиции. Значит, будешь ли тихим или бойким — тебя всё равно будут бить и обижать.

Прошло несколько дней, на дворе заговорили, что отправленный в больницу ученик стекольщика сошёл с ума. Евсей вспомнил, как горели глаза мальчика во время его представлений, как порывисты были его движения и быстро изменялось лицо, и со страхом подумал, что, может быть, Анатолий всегда был сумасшедшим. И забыл о нём.

...В дождливые ночи осени на крыше, под окном, рождались дробные звуки, мешая спать, будя в сердце тревогу. В одну из таких ночей он услышал злой крик хозяина:

— Мерзавка!..

Раиса возражала, как всегда, негромко и певуче:

— Я не могу позволить вам, Матвей Матвеевич...

— Подлая! Какие деньги я тебе плачу?

Дверь в комнату хозяина была не притворена, голоса звучали ясно. Мелкий дождь тихо пел за окном слезливую песню. По крыше ползал ветер; как большая, бесприютная птица, утомлённая непогодой, он вздыхал, мягко касаясь мокрыми крыльями стёкол окна. Мальчик сел на постели, обнял колени руками и, вздрагивая, слушал:

— Отдай мне двадцать пять рублей, воровка!

— Я не отпираюсь — Доримедонт Лукич дал мне...

— Ага! Вот видишь, дрянь!..

— Нет, вы позвольте — когда вы попросили меня следить за господином...

Дверь закрылась. Но и сквозь стену слышно было, как старик кричал:

— Ты помни, подлая, ты у меня в руках! И если я замечу, что ты с Доримедонтом шашни завела...

Голос женщины, тёплый и гибкий, извивался вокруг злых слов старика и стирал их из памяти Евсея.

Женщина была права, в этом Евсея убеждало её спокойствие и всё его отношение к ней. Ему шёл уже пятнадцатый год, его влечение к смиренной и красивой Раисе Петровне начинало осложняться тревожно приятным чувством. Встречая Раису всегда на минуты, он смотрел ей в лицо с тайным чувством стыдливой радости, она говорила с ним ласково, это вызывало в груди его благодарное волнение и всё более властно тянуло к ней...

Ещё в деревне он знал грубую правду отношений между мужчиной и женщиной; город раскрасил эту правду грязью, но она не пачкала мальчика, боязливый, он не смел верить тому, что говорилось о женщинах, и речи эти вызывали у него не соблазн, а жуткое отвращение. Теперь, сидя

на постели, Евсей вспоминал добрые улыбки, ласковые слова Раисы. Увлечённый этим, он не успел лечь, когда отворилась дверь из комнаты хозяина и перед ним встала она, полуодетая, с распущенными волосами, прижав руку к груди. Он испугался, замер, но женщина, улыбнувшись, погрозила ему пальцем и ушла к себе.

Утром, подметая в кухне пол, он увидел Раису в двери её комнаты и выпрямился перед нею с веником в руках.

— Хочешь кофе пить со мной? — спросила она.

Обрадованный и смущённый, Евсей ответил:

— Я ещё не умывался, — я сейчас!

И через несколько минут сидел за столом у неё в комнате, ничего не видя, кроме белого лица с тонкими бровями и добрых, влажно улыбававшихся глаз.

— Я тебе нравлюсь? — спросила она.

— Да! — ответил мальчик.

— Почему?

— Вы добрая и красивая...

Он отвечал, как во сне. Ему было странно слышать её вопросы, глаза её должны были знать всё, что творилось в его душе.

— А Матвея Матвеевича ты любишь? — медленно и негромко спросила Раиса.

— Нет! — просто ответил Евсей.

— Разве? А он тебя любит, он сам говорил мне это...

— Нет! — повторил мальчик, качнув головой. Она подняла брови и немножко пододвинулась к нему, спрашивая:

— Ты мне не веришь?

— Вам — верю, а хозяину — не верю, ни в чём...

— Отчего? Отчего? — дважды быстро и тихо спросила она, подвигаясь к нему ещё ближе. Тёплый луч её взгляда проник в сердце мальчика и будил там маленькие мысли; он торопливо выбрасывал их перед женщиной:

— Я его боюсь. Я всех боюсь, кроме вас...

— Почему?

— Вас тоже обижают... Я видел, вы плакали... Это вы не оттого плакали, что были тогда выпивши, — я понимаю. Я много понимаю — только всё вместе не могу понять. Каждое отдельное я вижу до последней морщинки, и рядом с ним совсем даже и непохожее — тоже понимаю, а — к чему это всё? Одно с другим не складывается. Есть одна жизнь и — другая ещё...

— Что ты говоришь? — удивлённо спросила Раиса. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга, сердце мальчика билось торопливо, щёки покрылись румянцем смущения.

— Ну, теперь иди! — тихо сказала Раиса, вставая. — Иди, а то он будет спрашивать, почему ты долго. Не говори ему, что был у меня, — хорошо?

— Да.

Он ушёл, насыщенный ласковым звуком певучего голоса, согретый участливым взглядом, и весь день в памяти его звенели слова этой женщины, грея сердце тихой радостью.

День этот был странно длинён. Над крышами домов и площадью неподвижно висела серая туча, усталый день точно запутался в её сырой массе и тоже остановился. К вечеру в лавку пришли покупатели, один — сутулый, худой, с красивыми, полуседыми усами, другой — рыжебородый, в очках. Оба они долго и внимательно рылись в книгах, худой всё время тихонько свистел, и усы у него шевелились, а рыжий говорил с хозяином. Евсей укладывал отобранные книги в ряд, корешками вверх, и прислушивался к словам старика Распопова.

Он заранее знал всё, что будет говорить хозяин, знал, как он будет говорить, и от скуки, вызванной ожиданием вечера, проверял себя.

— Для библиотеки покупаете? — ласково спросил старик.

— Для библиотеки общества учителей! — ответил рыжий и тоже спросил: А что?

«Похвалит!» — думал Евсей о хозяине и не ошибся.

— С большим знанием выбор делаете, приятно видеть правильную оценку книги...

— Приятно?

«Сейчас улыбнётся», — подумал Евсей.

— Как же! — любезно усмехаясь, сказал старик. — К этому товару привыкаешь, любишь его, ведь не дрова, произведение ума. Когда видишь, что и покупатель уважает книгу, — это приятно. Вообще-то наш покупатель чудак, приходит и спрашивает — нет ли интересной книги какой-нибудь? Ему всё равно, он ищет забавы, игрушечку, но не пользу. А иной раз бывает — вдруг спросит запрещённых книг...

— Как это — запрещённых? — спросил рыжий, прищуривая маленькие глазки.

— Напечатанных за границей или тайно в России...

— А бывают в продаже и такие?

«Теперь будет говорить тихонько!» — вспоминал Евсей приёмы старика.

Уставившись очками в лицо рыжего, хозяин почти шёпотом сказал:

— Почему не быть? Иногда купишь целую библиотеку, ну, а в ней всё попадается, всё.

— И сейчас имеете такие книги?

— Найдётся несколько...

— А ну, покажите-ка! — попросил рыжий.

— Только я вас попрошу сохранить это в секрете... знаете, — не из-за прибыли, а из почтения... желаешь услужить...

Сутулый человек перестал свистеть, поправил очки и внимательно осмотрел старика.

Сегодня хозяин был особенно противен Евсею, весь день он наблюдал за ним с тоскливой злостью, и теперь, когда старик отошёл с рыжим в угол лавки, показывая там книги, мальчик вдруг шёпотом сказал сутулому покупателю:

— Тех книг не покупайте...

Сказал и вздрогнул в остром испуге. Из-под очков в лицо ему заглянули светлые прищуренные глаза.

— Почему?

Не сразу, с большим усилием, Евсей ответил:

— Я не знаю...

Покупатель снова поправил очки, отодвинулся от него и засвистал громче, искоса присматриваясь к старику. Потом, дёрнув головой кверху, он сразу стал прямее, вырос, погладил седые усы, не торопясь подошёл к своему товарищу, взял из его рук книгу, взглянул и бросил её на стол. Евсей следил за ним, ожидая чего-то беспощадного для себя. Но сутулый дотронулся до руки товарища и сказал просто, спокойно:

— Ну, идём...

— А — книги? — воскликнул рыжий.

— Идём...

Рыжий взглянул на него, потом на хозяина, его маленькие глазки часто замигали, и он отошёл к двери на улицу.

— Не желаете? — спросил Распопов.

Евсей понял по голосу, что старик удивлён.

— Не желаю! — ответил покупатель, пристально глядя в лицо хозяина. Тот съёжился, отступил, взмахнул рукой и вдруг неестественно громко заговорил незнакомым Евсею голосом:

— Воля ваша! Всё-таки этого я, извините, не понимаю...

— Чего не понимаете? — спросил сутулый, усмехаясь.

— Рылись два часа, сторговались и вдруг — почему? — тревожно выкрикивал старик.

— Хотя бы потому, что вспомнил я вашу противную рожу. Вы ещё не издохли?

Сутулый выговорил свои слова медленно, негромко, отчётливо и ушёл из лавки не торопясь, шагая тяжело, гулко.

Минуту старик смотрел вслед ему, затем сорвался с места, мелкими шагами подбежал к Евсею и, схватив его за плечо, быстрым шёпотом заговорил:

— Иди за ним, узнай, где живёт, иди! Незаметно, понимаешь, скорее!